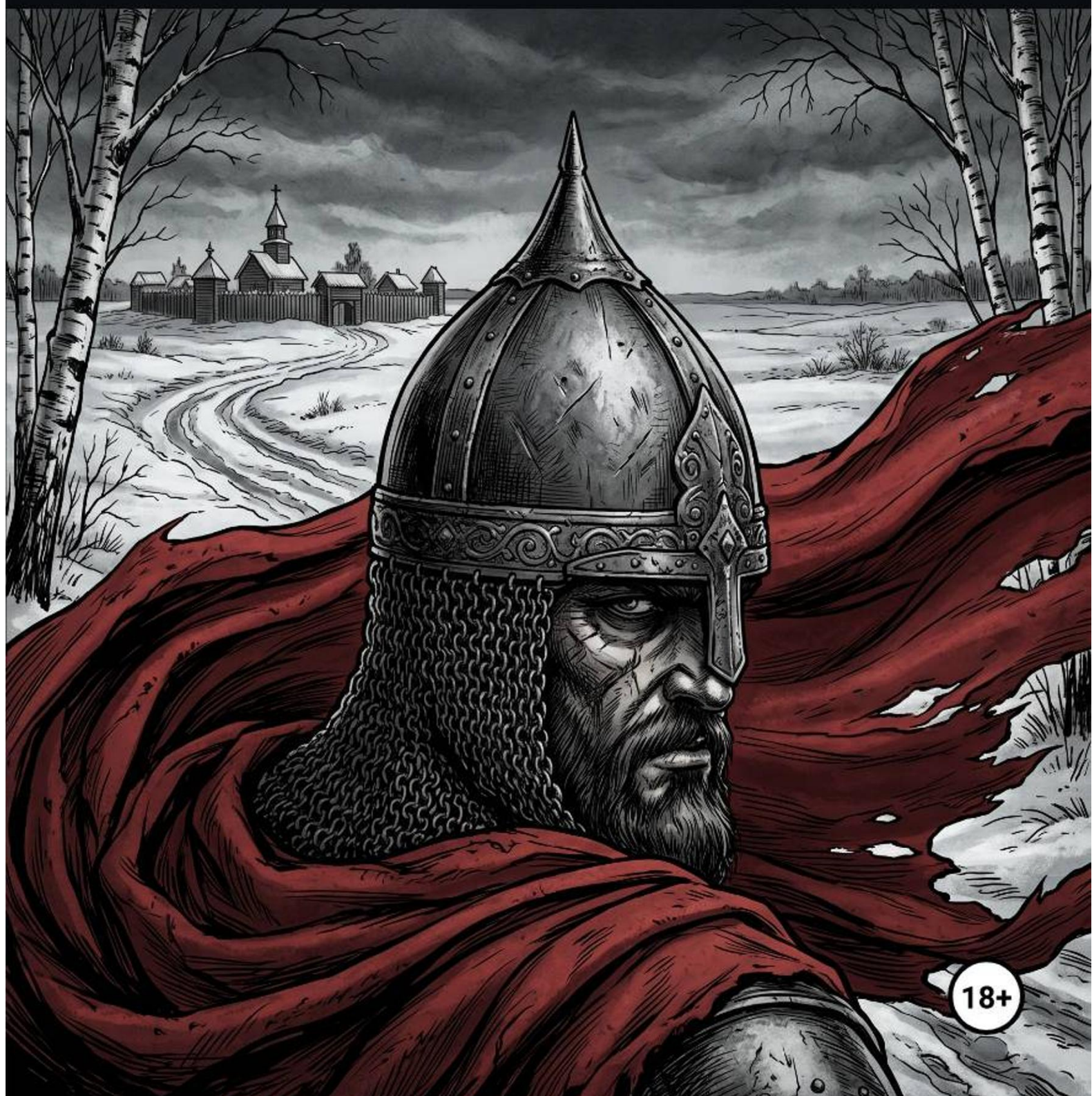


ВАДИМ БЕЛИКОВ

ИЗВЕРГЪ



18+

Вадим Беликов

Изверг

«Автор»

2026

Беликов В.

Изверг / В. Беликов — «Автор», 2026

Русь, 1281 год. Орда жжёт деревни. Баскаки собирают ясак. Языческие боги ещё дышат в лесах, и один из них выходит на охоту. Он идёт по дорогам, залитым кровью. Лица не разглядеть под шоломом. Имени не помнят. Шестопёр в руке, ворон на плече, красный плащ за спиной. Местные зовут его Извергом. Бесы чуют за версту. А он всё читает «Отче наш» — и не получает ответа. Его ведёт Велес. Древний, скотий бог, что не терпит отказа. Ему нужна голова. Ему нужна месть. Ему нужно, чтобы Изверг убивал — и тот убивает. Но даже у проклятых есть выбор.

© Беликов В., 2026

© Автор, 2026

Вадим Беликов

Изверг

ГЛАВА 1. ИЗВЕРГ

«Отче наш, иже еси на небеси...»

— Изверг! Поди прочь отсюда! — старик бросил камень. Шелом загудел.

С плеч просыпался снег.

Погост лежал в низине, у реки. Дома жались к церквушке, как овцы к пастуху. Крест на макушке был надломлен — не бурей, временем. Снег лежал серый, истоптанный. От колодца тянуло мокрым деревом. За частоколом чернел лес. Из леса я пришёл. В лес меня и гнали.

«Яко светится имя Твоё...»

— Уведите его отсюда! — женщина пала на колени, вцепилась в подрясник священника.

Дюжина девушек в серых дырявых платьях стояли в ряд перед колодцем.

— Во имя Господа Бога, уйди с погоста! — мужики грузили мешки на телеги. Подойти не решались.

Бармица шелестела. Детский плач в домах. Шестопёр морозил пальцы. Тело поганого остывало подо мной.

«Да прибудет Царствие Твоё...»

Горечь подступила к горлу. Губы сомкнулись. Виски застучали. Больше выдавить не смогу.

— Девки в ясак пойдут. Чтобы мы жили. Уходи, молим тебя. Не дай Бог баскак увидит — их десяток будет не меньше, нам всем несдобровать, — сказал священник. — Мы тело закопаем.

«Псы раскопают, не пойдёт».

— Скажи уже что-нибудь, окаянный, — твердила старуха.

«Смотрят на меня как на животное. Будто я их резать пришёл».

Рядник. Вотола долгополая, сукно серое. Сапоги чёрные. На поясе кошель.

Лицо выбрито, а под скулой — родимое пятно, сизое, как тухлое мясо. Глаза бегали. Потом пах, не морозом.

Подошёл ближе всех.

— Богатырь, уйди, скажи, что тебе нужно? — залепетал он. — Серебра дадим, хлеба дадим в дорогу. Пока время есть, не губи нас и себя.

«Боже. Очисти моё сердце и обнови во мне мой праведный дух».

Мир застыл. Размазался по округе, как картина.

— Праведный дух, — голос за спиной. Запах гнили, болот. — В такое-то время... Праведный дух... Твой?

Мотнул головой.

— Ты слышишь меня? — повторил рядник. — У тебя крест в кулаке, во имя Христа оставь нас. Что ты хочешь?

— По какой дороге пойдут поганые? — голос сжался. Горло жгло.

— Ты убьёшь их?

— Да.

— Они пришлют за нами ещё и ещё, пока колодец детьми не забьют...

— Покажи дорогу, по которой татары пойдут, — встал и стряхнул корзною червлёное. Воздух из трупа вышел. Бабы закрыли лица ладонями. Рыдали. Девушки в платьях, лет пятнадцать, кому-то меньше, кому-то больше. Смотрели без страха, единственные. Потому что глаза мёртвы.

— Вас никто не тронет, — шестопёр об лицо трупа вытер.

— Эдак ты его... — голос парня с мешком. — Голыми руками-то...
— Иван! — оборвал рядник. Парень бросил мешок, взгляд полный ненависти, не ко мне.
— Показывай дорогу, — повторил я.
— А что нам-то потом? — кинула баба. — Куда идти-то? В лес?
— В лес нельзя, там бесово, — ответил я.
— Так ты сам оттуда пришёл.
— Мне не страшно...

Рядник выдохнул и махнул рукой. Мне в спину ворвались, сыпали проклятия.
За погостом — белоснежная тропа, избитая копытами. Между берёз. Ноги скользили по грязи.

Обернулся. Церквушка селения, крест надломлен.

— Как тебя звать?

— Извергом зовут.

— Это по-каковски? — через плечо спросил рядник.

— Веди...

— Девочек мы всё равно отдадим, уж прости нас, жить надобно дальше.

Остановились. Солнце пробивалось сквозь костяные пальцы деревьев.

Огляделся — взгорок есть. Дорога широка. Наброситься можно. Или...

«Или попроси его. Пусть ловушки поставит. Леший недалеко бродит. Давай, скотина моя.

Закуём их в терновые пути. Коней в грязь затащим».

— Тут? — рядник провёл рукой перед моим лицом. — Дальше я не пойду. Тут воют по ночам, волки небось.

Вороны заграяли. Сели на ветви — наблюдают. Проводник затоптал вспять.

— Бог тебе судья, а смерти наши на тебе, — бросил он в спину.

Пальцы вцепились в корни. Поднялся на взгорок. Вонь птичьего помёта, снег пятнами пожелтел. Опиёлся о древо, сбросил щит и шестопёр.

Руки на колени положил. Ломота в шее.

Ворон сел на острие щита и програвал:

— Поганные демона ведут. Ветер шепчет. Они в лесу.

Я посмотрел в сторону. Между белыми стволами — рога оленя на рыле, туша с длинными когтями, пар из двух ноздрей морозный. Голос в левом ухе, обдул лицо — разило тиной.

— Только попроси, я подсоблю.

— Изыди, тварь, — забрало приоткрыл. Вдохнул поглубже. Свежесть. Провёл рукой по бороде — стёр сучки и мусор.

— Что за бесовщина с ними?

— Сам ищи — рыщи.

Ворон сел на ветку, буровил глазами.

Пальцы разжались. Холод забрался под кольчугу, пока я спал. Снег набился в бороду. Во рту — вкус железа. Тело отдалось сну.

Человек шёл по полю босиком, и земля под его ногами была тёплой, влажной, пахнувшей весной. Он толкал плуг — деревянный, старый, с железным лемехом, что блестел на солнце, как серебро. Лошадь шла впереди, белая, без единого пятнышка, и грива её лежала на ветру ровно, словно льняная пряжа. Человек не подгонял её — просто держал плуг и смотрел, как земля расступается, ложится ровными пластами, дышит паром.

Поле было бескрайним. Солнце стояло высоко, но не жгло — грело плечи, как руки матери. Воздух был прозрачным, звонким, полным птичьих голосов. На меже сидела девочка с льняными волосами и плела венок из одуванчиков. Она смеялась. Смех долетал до меня, лёгкий, как ветер.

Потом человек отложил плуг. Взял топор. Рубил дрова для печи — сухую берёзу, что сама легла под удар. Поленья разлетались с чистым, сухим треском. Складывал в поленищу. Руки двигались без усилия. Спина не болела. Он работал и улыбался.

Где-то далеко, за полем, стоял дом. Из трубы поднимался дым. Кто-то ждал его там. И он знал это. И потому не спешил.

Ржание.

Я открыл глаза. Не шевелился.

Сквозь частокол берёз — движение. Сперва пар над головами, потом тени.

Кони тяжёлые, степные, гривы в инее. Всадники в малахаях, поверх — железные шапки. У двоих луки через плечо, у одного — сабля наголо, поигрывает.

Дюжина. Передовой.

Шли шагом. За спиной — скрип телеги. На ней сундуки, мешки, войлок. Чужой скарб. Чужой ясак.

Ворон на ветке повернул голову.

Колесо телеги треснуло, сама накренилась. Ось просела. Наехала на пенёк с зелёным ростком. Я посмотрел на ворона — тот почесал крыло клювом.

Конь всхрапнул. Передовой всадник натянул повод, обернулся. Лицо плоское, глаз узкий, пар из ноздрей. Ни слова. Только взгляд — на возницу, потом на колесо.

Двое нукеров спешили.

Где же бес среди них? Соврал, значит, болотный...

Повернулись ко мне спиной. Я стоял сверху. Ветер задул, заглушил мою поступь. Поганый ковырялся в колесе. Я достал шестопёр, щит.

«Прыжок. Сейчас».

— Господа! Господа! — по дороге бежал рядник, к ним. — Изверг тут!

Указал пальцем на меня. Те обернулись. Я стоял над ними, сбрасывал тень на телегу. Похватались за оружие.

Прыжок. Щит точно в лицо, остриё воткнулось в морду лысого татарина. Сбоку звук лезвия. Я развернулся и всадил шестопёр в голову. Тупой гул металла. Проломил шлем. Кровь стекала по лицу, пальцы судорожно сжимали рукоять сабли. Упал.

Развернулся. Другой уже натягивал лук. Я сжал его пальцы на древке, вырвал стрелу и воткнул в глаз. Заорал, оросил грязь кровью. Звук тетивы. Прикрылся телом поганого — две стрелы пронзили его насквозь. Схватил орущего за шею и бросил в двоих. Завалились.

Залили сзади. Я дёрнул плащом точно в лицо, враг замешкался. Сабля прошла над головой. Удар шестопёром в колено — белая чистая кость вырвалась из штанины наружу. Схватился за ногу, орал как боров.

Свист. Пригнулся. Стрела вошла в дерево. Взял щит за края и бросил в лучника. Звон — и тело на земле.

С телеги спрыгнул другой. Я схватил его за запястье, сжал — он выронил кинжал. Удар кулаком в горло, треск. Захрипел.

Трое побежали в лес. Скрылись за деревьями, побросали оружие. Крик вдалеке — и тишина.

Рядник лежал на спине и тряся, как сухая ветка.

— Прочь, — бросил я ему.

Тела ещё стонали. Ветер стих, на груди жжение. Крест пропекал кожу. Огляделся — ничего. В телеге тихо. Птицы замолчали.

Укус за ногу. Я упал и выронил оружие. Вонзил пальцы в землю — тянуло к себе, хватка сдавила плоть. Пасть лошадиная сжимала ногу так, что наколенник трещал. Глаза твари налились красным. Зрачки — два дёгтя — вонзились в мои. Зубы белые, ровные. Жилы взбухли на рыле, а ноги изогнулись в суставах в обратную сторону. Я схватил его за длинное ухо, бил

кулаком в лоб, но пасть сжималась всё сильнее. Кинжал лежал на земле — схватил и воткнул в глаз. Чёрная кровь брызнула на зеркало. Чудище завопило — смесь лошадиного ржания и предсмертного крика. Рвануло толстой шеей. Бросило меня в ствол дерева.

Упёрся задними кривыми ногами и рванул — я отскочил. Тварь переломила дерево пополам. Я схватил щит. Второй рывок, удар — меня откинуло.

Конь встал во весь рост. На две ноги. Прыгнул на меня — я вонзил щит ему в брюхо. Вспорол. Внутренности пали на снег, пар и гниль вырвались мерзкой дымкой. Укус в плечо — кольчуга рвалась на части. Железные кольца опадали в грязь. Я схватил его шею, сдавил. Он начал рвать меня пастью, делал рывки, брыкался. Я забрался поверх шеи, скрестил ноги на бёдрах. Тот пытался скинуть. Я сжал хватку так, что зубы трещали. Шея толстая — не задушить. Но конь упал, пытаюсь вырваться.

Схватил за верхнюю пасть, затем за нижнюю. Растянул. Пальцы в крови, его слюна прожигала ладони.

«Не отпущу».

Разрыв. Чернота вырвалась. Челюсти обвисли. Дёрнулся и сбросил меня. Пополз, как червь, по снегу. Отталкивался задними лапами.

Я взял шестопёр. Конь пытался ползти прочь, ржание смешалось с бульканьем. Удар в череп — ещё жив. Ещё. Ещё. Ещё.

— Сдохни, бес! — бил, пока не пробил дыру.

Тварь стихла. Забрался рукой под кольчугу — кровь.

«Господи, помилуй мя, грешного».

Рядник сидел на коленях, взгляд застыл, а сам не двигался — обезумел.

Ворон сел на плечо. Двое других — на зеркало. Скрежет когтей по железу.

Клювами развязали броню. Кольчуга пробита. Вечерело.

Со стороны деревни, пригнувшись, шли трое мужиков.

Вороны оголили рану и впились клювами. Грызли плоть. Кровь капала на землю, мешалась с чёрной смолой беса. Жжение уходило — птицы делали свою работу.

Мужики приблизились, глаза нависают.

— Что... что... что это? — заговорил парень. Иван.

— Ты их всех убил, и что это с... конём?

— Заберите этого, — я кивнул на рядника. — С ума сошёл. Не подходите — и вы ум сохраните.

Одного из них рвало себе на сапоги.

— Что нам делать? — спросил Иван. Голос дрожал.

Птицы закончили. Рана на плече затянулась.

— Берите что можете и наутёк с этих мест.

— Это... что это за тварь? — он вытянул шею, заглянул за телегу, закашлял.

— Девочек ваших жрать шёл, — я закинул щит на спину, повесил шестопёр на пояс. Пошёл по тропе. Ночные птицы завели песню. Ветер всколыхнул плащ.

Шёл, пока небо не почернело. Снег светился под луной. Следы заметало позёмкой. У реки остановился, развёл костёр. Дрова сырые, дымили. Тепло пошло. Костёр грел пальцы. Одежда провонялась бесовщиной. Сова на дереве. Воет.

Из тьмы вышел ратник. Сел напротив, приподнял шлем. Протянул руки над огнём. Борода седая, глаза впалые.

— На Калке-то кости трещали, да? — начал ратник.

Хворост потрескивал, искры разлетались и тухли в снегу.

— Ох, если бы не мы, то татар-то и не было вовсе, — продолжил старый воин. — Небось и сгинем так все. По глупости.

— Пошёл вон...

— Ты-то исправишь, да? Ошибку свою, мою, их...

«Отче наш, иже еси на небеси...»

— А ты всё Богу молишься своему? — посмеялся ратник. Эхо застряло в стволах. — Помог он нам? За него битву вели.

«Яко светится имя Твоё... да придёт...»

К горлу подкатило. Губы слиплись.

«Пойду... долиной... смертной тени...»

Рот седого опустился до груди. Глаза провалились в глазницы.

— Убийца, проклятый, своим Богом оставленный, — шипел он.

«Не боюсь зла. Потому что Ты со мной...»

Подул ветер — ратник исчез.

Запах тины, неспешные шаги вокруг.

«Не того славить».

— Велес...

— Не говори со мной так, скот, — голос вокруг. Шаги ближе. — В Нави тебя не ждут, и в аду тоже. Туда ты тоже не попадёшь. Будешь вечно моей псиной.

Огонь разгорелся, щепки перегорали быстро.

— Поганных кто с земель прогонит? — Он? — крест на груди после его слов задрожал.

— Я.

— С чьей помощью?

— Ты демон, бесовщина, которая пытается выжить, — вырвалось у меня. Сердце забилося. Горло сжалось. Не продохнуть. Я упал на землю, глаза закатились. Предо мной — мутные ноги, испачканные в траве и грязи.

— Не гневай хозяина, — ворон сел мне на лицо. Кости впились в щёку.

— Добудь мне голову Глеба, князя Суздальского, — ветер смёл образ. Ворон сел на ветку надо мной. Тело расслабилось.

Год 1281-й от Рождества Христова.

Земли Владимирского княжества, близ реки Клязьмы.

ГЛАВА 2. ПОВИТУХА.

Омыл руки в реке. Солнце освещало грязь. Шестопёр протирает пальцами, взболтнул — засохшая кровь растворилась по кругу в мутной воде. Рана пощипывала. По ту сторону волчица с двумя детёнышами, уставилась на меня.

Птицы закружились над головой. Ворон сел на плечо, клювом схватил за ухо — потянул в сторону.

— Что там?

Он не ответил. Полетел вперёд по тропе.

Забросил щит на спину, умылся. Ноги утопали в земле. Холодало. Дорога на север, в Суздаль, опустела. За оврагом толпа — бьют женщину камнями, кричат проклятия. Присмотрелся — старуха, колени ободраны в кровь, седые волосы спутались, закрыли лицо. Ворон закружил над ними.

Старик стал поперёк. Закрыл собой бабу, выставил руки. Молодой мужик с ходу кулаком в лицо. Зубы вылетели, упал на землю старик, прикрыл кровавый рот грязной рукой.

— Пошёл вон, Трофим! — женщина бросила камень ему в спину.

— Твоя баба — ведьма!

— Убить её, чтобы урожай пришёл.

Я подошёл ближе. Все обернулись. Старик смотрел из-под лобья, пополз ко мне, кровавыми пальцами оставил след на сапогах.

— Дружинник, ты чей будешь? — спросил мужик с закатанными рукавами рубахи.

«Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят».

Баба подранная подняла голову. Зашипела:

— Проклятый пришёл, по душу мою, за ним бесы и твари ползут, всех нас с собой заберут. Извергнутый. Непринятый.

Мужик ударил сапогом ей в голову.

— Заткнись, сволочь!

— Воин, не баскаки тебя послали-то? — спросил мужик.

— Бабу в жертву приносите? — спросил я.

Деревенские переглянулись.

— Нет, конечно, мы добрые христиане, — сказал мужик.

— Добрые христиане стариков не избивают, — взял старика за руку и поднял на ноги.

— На каком капище будете её губить?

— Ни на каком, наказываем её! — мужик вышел вперёд. Рука в крови, следы зубов старика исцарапали кожу.

— Ты право имеешь?

— Да, имею, наша деревня Ордынского мурзы, делаем что надобно.

— Часовенька есть?

— Есть, но поп помер давно, — ответил он.

— Где капище ваше, говори, не то проломлю всем головы, — я достал шестопёр.

Жители попятились.

— Кто ты? — мужик отошёл к толпе.

Я шёл к ним. Сжимал в руке рукоять.

Ведьма вцепилась в мою ногу, укусила. Взял её за волосы, не отцепить.

Клок волос вырвался. Поднял ведьму за шею.

— Веди, — бросил вперёд. Баба встала на четвереньки и поползла в лес. Ветки цепляли её серое платье. Ноги босые, грязные. Руки перебирали быстро.

Местные следом не пошли. Нас встретило вырубленное место. Деревянный идол с рожей стоял посреди. Ведьма обняла его и зарыдала. Истукан в засохшей крови, глаза пустые, борода.

— Идол Велеса, — я провёл пальцем по дереву. Кровь старая, въелась в борозды. — Тайные требы.

— Убить хотели, потому что бог замолчал, — сказала ведьма. — Скоро за данью придут, а прошлый год пустой. Хотели плоть мою принести Велесу в угоду. Я молилась, чтобы он послал нам ответ. Пришёл ты... скотий бог проклятье на нас наваял.

Поднял шестопёр вверх. Удар. Дерево раскололось надвое. Морда идола развалилась.

— Что ты делаешь! — ведьма отползла и закусила грязные пальцы зубами.

Размахнулся. Ещё раз. Тело истукана скосило.

Рычание позади. Повернул голову. Волчица бросилась на меня. Пасть в шею, выставил кулак, её клыки впились в кожу. Поднял тушу над собой и бросил на острый сук. Проткнул живот насквозь. Волчица взвыла. Ветер разносил сухую листву. Подошёл к голове, достал щит и ударил в горло. Затихла.

— Велес проклянет тебя! — завывала старуха.

— Эти боги оставили нас давным-давно. Есть только единый Бог, — посмотрел на руку, кровь капала на землю. На идол.

Хруст веток. Из леса вышли двое в малахаях. Один с саблей, другой в долгополой одежде, с кошелём на поясе. Застыли.

— Эй, урус, ты кто такой? Зачем капище ломал, мурза тебя не звал! — схватился за саблю тот.

Второй смотрел на ведьму, на волчицу.

Ворон заграял над головой.

«В деревне были. Позвали местные».

— Зачем бабу мучаешь? Она наша, всё здесь наше! — тыкал пальцем в меня другой. Вокруг всё смазалось. Подуло, запах седой травы с росой.

«Кровь их на трещину в истукана залей — твою, волчицы, и поганных. Пусть смешаются. Насыть меня, и дам урожай. Поганные хворью заболеют и подохнут, если останутся у них».

— Волчица твоя была? — проговорил я.

«Их».

— С тобой говорю, урус! — татарин с саблей шёл ко мне.

Сжал рукоять. Рванул на врага. Ударил точно в кисть, рука обмякла, он заорал. Вторым достал кинжал и прыгнул сбоку. Я схватил его за горло, другой рукой за запястье. Кинжал выпал из чистых пальцев. Развернул и виском насадил на сук. Кровь потекла внутрь.

Второго в лоб наверху. Хруст черепа. Закинул его рядом. Ведьма замолчала, раскрыла глаза, глядя на этот узор — раздробленный идол, волчица на суку, голова поганого и тело. Истукан покрылся кровью.

Ветер загудел. Щепки летели в лицо, царапая.

Старуха подняла руки вверх и пала лбом к земле.

— Наконец-то, наконец-то, так он велел, так он хотел.

Я пошёл прочь. Ворон полетел в сторону, над тропой. Местные застыли из-за кустов. Позади дым, запах костра. Поля и небольшой погост. Молчали, пока я не скрылся за бугром.

Ворон летел низко. Снег срывался с перьев, ветер мотал его из стороны в сторону, но он держал путь — прямо на восток, не уклоняясь.

Дорога легла под ноги разбитая, избитая копытами. Заледенелые колеи резали подошвы. По сторонам — берёзы, голые, в инее. Из леса тянуло гарью: где-то жгли палую скотину. Ворон садился на ветку, ждал, пока я пройду, срывался снова. Не каркал. Не оборачивался. Знал, что иду.

К вечеру вышли к реке. Лёд у берега схватился, но середка дышала — чёрная, тяжёлая вода ворочалась под паром. Брод был помечен вешками: кто-то переходил здесь до меня. Ворон перелетел на тот берег. Сел на корягу. Смотрел.

Я ступил в воду. Холод схватил за ноги, пробрался под кольчугу, сжал рёбра. Дно скользкое, камни обкатанные. Шёл медленно, держал щит над головой. Вода поднялась до пояса, до груди. На середине реки стало тихо — только пар от воды и собственное дыхание. Тело онемело. Перестал чувствовать пальцы.

Ворон гаял с того берега — резко, требовательно. Я стиснул зубы и вышел. Мокрый снег под ногами. Вода стекала с кольчуги, замерзала на лету. Обувь окаменела.

Лес на том берегу был гуще. Тропа пошла вверх, на взгорок. Ворон летел впереди, чёрным росчерком по серому небу. Я поднялся на гребень. Внизу, в низине, блеснула излучина реки. Дымка над полями. Погост, из которого ушёл, остался за спиной, за лесом, за водой.

Впереди лежала Суздальская земля.

Проводник свернул в сторону.

— Нам не туда, — сказал я.

— Тебе нужна голова князя, я веду...

— Суздаль дальше по тропе. И голова нужна тебе, а не мне.

— Ошибаешься, — он полетел.

Я сплюнул и пошёл за ним. Ворон залетел в кушири. Я пробирался через лесополосу. Он сел на погорелый дом. Перед нами лежала мёртвая деревня.

Снег присыпал почерневшие доски — не скрыл, только обвёл белым, как саваном. Дома развалились внутрь себя. Крыши провалены, стропила торчали рёбрами в небо. Печные трубы стояли одни — чёрные, обугленные, как персты, указывающие в пустоту.

Кости на земле. Не прибранные. Снег обтаял вокруг них — звери глодали. Череп лежал у порога. Другой — у колодца.

Колодец обмелел. Сруб покосился, ведро валялось рядом, пробитое. Вода внутри замёрзла чёрным зеркалом.

Часовенка стояла. Одна среди развалин. Дверь сорвана. Внутри — пусто, темно. Крест железный лежал на земле. Не снят — сорван. Погнут у основания. Снег запорошил перекладину.

Ворон сел на трубу. Не гаял. Смотрел на меня. Я стоял посреди улицы, где никто не вышел встречать. Где никто не вышел хоронить.

Ветер тянул золой. Пахло старым пожарищем и мёрзлой глиной.

«Останусь на ночлег».

Нашёл себе место — бывший сарай. Сбросил щит, шестопёр. Местами погнуло. Земли под затылок насыпал. Небо шло, тучи шли, луна показала своё око. Ветер подёргивал цепь на колодце. Вокруг тишина.

— Что умолк-то? — спросил я, глядя на ворона. Тот смотрел в сторону, чистил перья.

«Привёл меня сюда. Поесть бы что, только желудок снова обожжёт. Уже забыл на вкус, какие ягоды. Мясо... только запах его стоит в носу. Мерзкой копотью. Ноги даже не устали, как у мертвеца».

Глаза закрывались. Покой приходил — так нежно и тепло. Пальцы замёрзли. Но я не почувствую, когда провалюсь в сон.

«Господи. Избавь от кошмаров ночных раба твоего...»

На грудь что-то сигануло. Присел — ничего. Сдавлено, дыхание сбило. Ночь на дворе. Что-то шкрябает снаружи по доскам. Руку к шестопёру кинул — пусто. Щита нет. Звон железный снаружи. Кто-то ходит, бежит, как ребёнок.

«Отче наш... иже еси на небеси...»

— Ку! — вверх ногами повис низкого роста, с чумазым лицом, в рубахе белой, глаза синие без зрачков. Борода седая. — Ратник, ты по что в мою деревню пришёл? По что на моём месте спишь?

«Домовой».

— Изыди, бес, — я сжал крест на груди. Горячий.

— Каков бес тебе? Я что ли?

Посмотрел на шерстяную лапу, обожжённую. Ноги босые, мохнатые.

— Оставь меня, я с дороги, — посмотрел вверх. Ворона нет.

— Оставлю, а ты что мне дашь? Лепёшка есть?

— Негу ничего.

— Уж неужто без еды бродишь по округе?

— Я не ем.

Он спрыгнул на землю. Встал на четвереньки. Оскалил зубы.

— Уходи.

— Отдай оружие.

— Так зашибёшь ты меня.

— Только поганых бью, — огляделся.

— Что ж ты не побил их, когда деревеньку мою сожгли и Митьку со Славой придушили?

— Прости...

Я поднялся. Оружие валялось за сараем.

«Часовенка ещё цела. Можно там отдохнуть».

— Эй, ратник, ты куда побрёл? — прошипел вслед.

Я забрался внутрь под доски. Взял крест здоровенный и прикрыл лаз. Улёгся.

— Я тебе спать не дам, либо хлеба дай, либо шуметь буду всю ночь, — застучал зубами домовой. Поднял палку и давай стучать по цепям колодца.

Потолок ещё хранил росписи. Не все догорели.

Цепь волоклась вокруг. Билась о землю, стены домов.

Крест стоял между нами. Закрыв глаза, ком подкатил к горлу. Слёзы полились, плечи задрожали. Рот скривился. Капали на бороду.

«Отчего так?»

Всё сильнее и сильнее.

Человек сидел на крыльце. Дом был крепкий, недавно рубленный — ещё пахло смолой и свежей щепой. Крыльцо выходило на реку. Вода текла медленная, светлая, и в ней отражалось небо — такое синее, какое бывает только в августе, когда хлеба уже налились, а жара ещё не спала. Человек держал в руках миску с молоком. Молоко было тёплое, с пенкой. Он пил его медленно, глядя на воду, и капли оставались в усах.

Я смотрел на него с того берега. С того берега, где не было ни дома, ни крыльца, ни реки — только тень и тишина. Но он меня не видел. И хорошо.

За его спиной, в доме, скрипнула дверь. Женский голос позвал его по имени. Я не расслышал имени. Но человек обернулся, улыбнулся, поставил миску на перила. Встал. Потянулся всем телом — без хруста, без боли, без памяти о вчерашнем. И вошёл в дом.

Дверь закрылась. Из трубы поднимался дым. Река текла дальше.

Карканье. Открыл глаза, свет проступал через щели креста. Ворон орёт — будит меня. Задвинул заграду. Щит и шестопёр лежат рядом. Домового след простыл. Не помню, как уснул от его игр. Потянулся. Вышел наружу.

— Иди давай, за мной, — птица поднялась ввысь.

Тропа вилась вдоль замёрзшего ручья. Снег здесь лежал нетронутый — ни копыта, ни лаптя. Только птичьи следы: вороньи крестики.

У излучины тропа расширилась, вывела на торный путь. Там, впереди, что-то темнело поперёк дороги.

Обоз.

Телега лежала на боку. Ось треснула пополам, колесо откатилось в сугроб. Мешки, тюки, бочонки — всё рассыпалось, перемешалось со снегом и грязью. Торчал пенёк — о него и раскололось.

Трое возились у телеги. Один, в долгополой шубе, с кошелём на поясе, кричал, размахивая руками. Купец. Двое других — наёмники: приземистые, в стёганных доспехах, с короткими мечами у бедра. У одного лицо в оспе, у другого левое ухо надорвано. Пытались приподнять телегу, подсунуть под ось обломок бревна.

Ворон обогнал меня. Сел на ветку прямо над ними. Склонил голову. Наблюдал.

Купец заметил меня первым. Застыл с открытым ртом. Наёмники бросили бревно, выпрямились. Тот, что с ухом, положил ладонь на рукоять.

— Кто таков? — крикнул купец. Голос дрогнул. — Ежели разбой, у нас товар худой, соли горсть да сукно дешёвое!

— Не разбой, — показал я руки. Подошёл ближе. Охранники всполошились, выглянули вперёд. — Откуда едете?

— Из Суздаля, — сказал купец.

— Глеб Суздальский... князь, сейчас там?

Они переглянулись.

— Месяц назад закололи и голову отрезали.

— Баскаки?

— Ну а кто.

— Иди своей дорогой, — добавил наёмник. Рука сжимала рукоять.

— Пойду, — я почесал бороду. — Добрый человек, скажи, по что князя убили?

— Интриги, плёл что ли... То от Бога, говорили, отрёкся, язычником был, то против татар что-то замышлял. Всякое судачат, но вот его посекли.

— Ясно...

Обошёл обоз. Те смотрели в спину.

— Его дружинников и его самого тут где-то казнили, — бросил вслед купец.

Я остановился. Ворон сидел на ветке. Вёл. Махнул рукой мужикам и пошёл дальше.

Вешние воды промыли в глине глубокие рытвины, теперь забитые снегом. Я спускался боком, цепляясь за корни. Щит за спиной цеплялся за ветки. Шестопёр дважды выскальзывал из ремня. Ворон перелетел овраг и ждал на той стороне.

Дальше — бурелом. Сосны лежали друг на друге, переломанные, с вывороченными корнями. Я перелезал, проваливаясь в пустоты между стволами. Кольчуга гремела. Наручи царапали кору. На снегу оставались рваные следы.

Когда выбрался, ворон уже сидел на ветке кривой берёзы. Дальше — поляна, открытая всем ветрам.

Трупы висели вдоль дороги. Не на верёвках — на крючьях, вбитых в стволы. Пятеро. Доспехи сорваны, исподние рубахи почернели от запёкшейся крови. У одного не было глаз — вороны постарались. У другого — отрублены кисти рук, лежали тут же, под деревом, сложенные горкой. Третий висел вниз головой, обмотанный собственной цепью, и ветер медленно крутил его из стороны в сторону.

Четвёртый сидел у корней — его прибили к дереву копьём, которое так и торчало из груди. Голова упала на плечо. Борода в инее, рот открыт.

Пятый стоял на коленях. Ему отрубили голову и надели её на обрубок собственного меча, воткнутого в землю. Голова смотрела на дорогу мёртвыми глазами. Тело осталось рядом — так и застыло, протянув руки к лезвию.

Ворон сел на голову. Ключнул в щёку. Вырвал кусок.

Ворон сорвался с ветки. Полетел дальше по дороге — невысоко, над самой колеёй. Я пошёл за ним.

Трупы дружинников остались за спиной. Ветер нёс позёмку, зализывал следы на снегу.

На пригорке, у развилки двух трактов, чернел кол. Высокий, свежеструганый, врытый глубоко. Снег вокруг был вытопан десятками ног. Конский навоз, обрывки верёвок, сломанное древко стрелы.

На колу сидела голова.

Кожа с черепа была снята от бровей до затылка. Волосы свисали с макушки грязными клоچьями — длинные, русые, княжьи. Лоб обнажён до кости, серый от мороза. В глазницы вместо глаз вбиты две серебряные монеты. Края век разорваны, металл вошёл глубоко. Одна монета покосилась и блестела на скупом солнце.

Рот разорван. В него забита удавка из конского волоса, затянутая так туго, что челюсть треснула посередине. Чёрные нити впились в дёсны, в язык, в нёбо. Князь кричал долго.

Ушей не было. На их месте — дыры, обожжённые по краям калёным железом.

Шею не перерубили — перепилили. Края раны рваные, лоскутные. Кровь замёрзла сосульками, примёрзла к дереву кола.

Ворон сел на макушку. Ключнул серебро в глазнице. Раздался звон — тонкий, чистый, как от монеты, брошенной в чашу.

Я стоял и смотрел. Ветер шевелил клочья волос. Монета качнулась.

«Вот твой князь».

— А-а-а-а-а-а-а! — схватил шестопёр. Глаза давили, кровь прожигала. Ударил в землю, выбросил щит. Вцепился пальцами в землю. Рыл. Рыл. Рыл. Сжал кулаки — ударил, ещё раз.

— Ненавижу! Убью! Убью! Буду ломать кости, сам обгладаю!
Пальцы свело судорогами. Грудь свинцом залило. Огляделся — никого.
«Жаль...»

Поднял булыжник. Бросил в ворона. Тот каркнул и отпрыгнул. Взял копьё и снова бросил в него. Сел на ветку.

Я упал на колени. Зубы сдавились до треска. Дышал, выдыхал эту злобу, ненависть. Кружила меня, изворачивала.

Отдышался. Крест перебирал пальцами. Холодный.

Протянул руку. Взялся за голову. Примёрзла. Дёрнул — не поддалась. Упёрся ногой в кол. Рванул. Лёд хрустнул, кожа на затылке осталась на дереве, и голова сошла с кола. Тяжёлая. Чужая.

Ворон взлетел и закружил над головой. Я развернул князя лицом к себе. Серебро глядело мёртво. В пустых дырах ушей свистел ветер.

— Вот голова! — поднял вверх.

— Повитуха живёт неподалёку, в деревне Гнездилово, к ней отнеси. Я ей сон наслал, будет ждать.

Бросил голову в мешок. Ворон кружил надо мной.

ГЛАВА 3. Князь.

Гнездилово. Два десятка дворов, присыпанных снегом. Дома — приземистые, крытые соломой, почерневшей от времени. Заборы покосились. Кое-где плетень провалился внутрь, и куры бродили прямо по огородам.

Деревня просыпалась. Тянуло дымом из печных труб. Пахло кислым тестом и мокрой золой. Где-то скрипел журавль колодца. Где-то баба окликала скотину. Собака брехала — не зло, по привычке.

Я стоял на взгорке. Снег на дороге был истоптан, изъезжен полозьями. У околицы, на высоком шесте, висел оберег: конский череп, обмотанный красной нитью. От ветхости или от ветра он медленно крутился, глядя пустыми глазницами то на лес, то на дома.

У крайнего двора старуха в тулупе кормила кур. Увидела меня. Застыла. Рука с зерном повисла в воздухе. Куры клевали из снега, ничего не понимая.

Поправил мешок за спиной. Голова князя была тяжёлой. Пошёл вниз.

Ворон обогнал. Сел на конский череп. Каркнул — и старуха, вздрогнув, уронила зерно.

Ноги скользили по накатанной колее. Снег под сапогами хрустел громко — слишком громко для спящей деревни. Но деревня не спала. Из-за плетней уже выглядывали. Бабы кутались в платки, мужики хмурились, дети жались к подолам.

Посреди деревни стояла часовенка. Маленькая, приземистая, сбитая из тёмных брёвен. Крест на макушке был свежий — недавно меняли. Дверь приоткрыта. Внутри горела свеча. Тёплый, живой огонёк в сером утре.

Я сделал шаг к ней.

Ворон сорвался с плеча. Клювом вцепился в край плаща и рванул в сторону — резко, зло. Я пошатнулся.

— Ты чего? — обернулся.

Он заграял. Снова схватил за плащ, потянул влево, к покосившейся избе на отшибе. Там, у крыльца, стояла баба. Простоволосая, в длинной рубаше, поверх накинут тулуп. Седая коса переброшена через плечо. Глаза закрыты. Стояла и не шевелилась.

Ворон отпустил плащ. Сел на плетень.

«Повитуха. Ждёт. Иди».

Я посмотрел на часовенку. Свеча горела. Дверь качнулась от ветра.

Пошёл к избе.

— Повитуха? — я бросил к её ногам мешок. Голова глухо ударилась о мёрзлую землю.

Она открыла глаза — прозрачные, белёсые, как у рыбы, что живёт в глубине и никогда не видит солнца. Повела носом. Не смотрела — чуяла. Пальцы нащупали дверной косяк.

— Призрак Калки, — прошелестела она. Голос сухой, как тёртая кора. — Зайди...

Я нагнулся, поднял мешок, шагнул через порог.

В избе пахло сушёной мятой, дымом и чем-то кислым — не то старым молоком, не то больным телом. Печь дышала жаром. Угли светились сквозь щели заслонки. На стенах пучки трав — зверобой, полынь, ещё какие-то, которых я не знал. Под потолком висели птичьи лапки на нитях. Слабый ветер из двери качал их, и они постукивали друг о друга, как сухие чётки.

В углу, у печи, на корточках сидела девушка. Простая рубаха, волосы убраны под платок, но прядь выбилась — тёмная, влажная от пота. Она возилась с котелком: мешала что-то деревянной ложкой, приподнимала крышку, заглядывала. От котелка шёл пар — густой, пахнущий прелой травой и мёдом. На столе рядом лежали чистые тряпицы, глиняный горшок с мазью, пучок сушёной мяты.

Она обернулась на мой шаг. Лицо молодое, бледное, глаза тёмные, быстрые. Ни страха. Ни любопытства. Просто смотрела, как смотрят на дождь за окном.

Повитуха прошла к столу, не касаясь стен. Села на лавку, сложила руки на коленях.

Я развязал мешок. Голова выкатилась на пол. Покатилась, оставляя мокрый след. Девушка вздрогнула, выронила ложку, котелок качнулся, плеснул варевом на угли. Зашипело.

— Ты знаешь, зачем тебе это? — спросил я.

— Знаю. Сон видела. Скотий бог тебя послал.

Девушка не сводила с меня глаз. Рот приоткрылся. Ложка лежала на полу.

— Не томи. Забирай её.

— Не мне она нужна, а тебе.

— Зачем?

— Почем мне-то знать.

— Не води за нос.

Повитуха встала. Подошла к девушке, обняла её за плечи. Та прижалась к старухе, но глаз от меня не отвела.

— Не я тебе помогу, извергнутый...

— О чём судачишь?

— Сегодня умирать буду. Внучке — Ирине — дар передам. Мучиться буду, перед тем как в Навь попасть. Ты будешь ждать здесь в полночь, и как дух начну испускать — ты крышу сорвёшь, чтобы ушла душа в тот мир.

— Найди мужиков. Пусть вытянут тебя.

— Тебя послал скотий бог, вот ты и сделаешь это. А завтра Ирина поведёт тебя туда, куда нужно.

Подошёл к Ирине. Молодая, с веснушками. Взгляд испуганный.

— Тебя бабка ведьмой сделать хочет. Тебе оно нужно?

Та попятилась. Опустила глаза.

— Тебе почём это надо? Всю жизнь средь бесов жить...

— Не твоё это дело, проклятый, — вступилась повитуха.

— Моё. Беги отсюда в полночь, пусть помирает старая сама. Иди к Богу обратись, всю жизнь страдать будешь...

— Я хочу... — тонкий голос Ирины.

— Ты не знаешь, с чем дело имеешь. Тебе лет-то сколько? Пятнадцать?

Бабка вцепилась ногтями в руку.

— Отцепись, старая, не то проломлю голову твою дурную!

— Уходи! — крикнула Ирина. — Пожалуйста, уходи...

Хлопнул дверь. Изба вздрогнула. С крыльца посыпался снег.

Я стоял на крыльце и сжимал кулаки. Пальцы хрустели. Кровь стучала в висках.

Деревня жила. У колодца баба набирала воду — ведро стукнуло о сруб, плеснуло. Мужик вёл тощую корову к хлеву, хлопал по боку, цыкал зубом. Двое мальчишек гоняли палкой ледышку по дороге, хохотали, пока один не растянулся в снегу и не заревел. На него зашикали из окна.

Дым из труб поднимался столбами. Солнце вышло из-за туч — тусклое, белое, как глаз слепой повитухи. Снег блестел. Где-то таял щенок.

Пошёл через деревню. Снег скрипел под сапогами. Мальчишки, увидев меня, притихли и отбежали к плетню. Баба у колодца перекрестилась, расплескала воду. Мужик с коровой посторонился, не глядя в глаза. Ворона не было.

Часовенка стояла посреди деревни. Дверь всё так же приоткрыта. Я шагнул внутрь. Пахло воском и старым деревом. Свеча у иконы догорала.

Поп вышел из-за алтаря. Не старый, не молодой — за сорок. Борода рыжеватая, с проседью, расчёсана на две стороны. Волосы собраны в пучок на затылке. Ряса выцветшая, заплатанная на локтях, но чистая. На груди крест деревянный, простой, без позолоты. Глаза светлые, водянистые, с красными прожилками.

Увидел меня. Не вздрогнул. Перекрестился неторопливо на икону, потом на меня. Подошёл. Крякнул.

— Добрый человек, — голос негромкий, с хрипотцой. — Как звать тебя?

— Не помню имени своего.

— Крещёный? — он подошёл ближе.

— Крест ношу на груди.

— С чем пожаловал?

— «Отче наш» прочитай мне... Прошу тебя.

Я присел на колени, смотрел в пол. Поп опустил рядом.

— Почём сам не читаешь?

— Проклятый я. Не слышит меня Бог.

— Бог всех слышит, добрый человек.

Поп сел напротив. Перекрестился.

— Отче наш, иже еси на небеси. Да святится имя Твоё, да придёт Царствие Твоё, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам...

В ушах загудело. Писк, глаза прищурил.

— И не введи нас во искушение, да...

Голова зазвенела, как колокол. Схватился за уши и упал на пол. Поп отпрыгнул, перекрестился. Затылок жгло. Полежал немного, прошло всё.

— Господи помилуй, — сказал поп. — Что ж с тобой такое? Бесноватый ты?

Я поднялся на ноги. Сделал глубокий вдох.

— Не слышит меня Бог, и я Его не слышу...

— Бог всех слышит. Раз тянешься к Нему — значит, уже в сердце твоём занял Своё место. Иди с миром.

— Посижу можно тут, до полуночи?

— Можно. Христос всем рад. И тебе тоже.

Сел на лавку у стены. Спиной к брёвнам. Лицом к алтарю.

В часовне было тихо. Не мёртвой тишиной — другой. Такой, какая бывает в лесу перед рассветом, когда птицы ещё молчат, но уже знают, что запоют. Воздух пах ладаном и старым деревом. Где-то под потолком гудел одинокий шмель — не ко времени проснулся, кружил, бился в слюдяное оконце.

Свечи горели перед иконами. Огоньки дрожали, хотя сквозняка не было. Лики святых смотрели со стен — строго, но не гневно. Один, крайний, был тёмнее от копоти, только глаз блестел. Другой — Богородица с младенцем — краска потрескалась у губ, будто пыталась что-то сказать и замолчала на полуслове.

На аналое лежало Евангелие. Открытое. Страницы пожелтели, угол загнут. Рядом — глиняная чаша со святой водой. Свет от свечи падал на воду, и на поверхности дрожал золотой крестик отражения.

Пальцы сами нащупали крест на груди. Холодный. Всегда холодный — даже под кольчужой, даже после боя, когда тело горит. Я сжал его. Не жёг. Лежал в ладони, как обычный кусок железа.

За окном смеркалось. Слюда мутнела, свет уходил. Шмель затих. Свечи оплывали, воск капал на подсвечник, застывал буграми.

В углу, у входа, лежал старый половик — бабы ткут такие из тряпья. На нём спала кошка. Серая, с рваным ухом. Дышала ровно, провалившись в какой-то свой кошачий покой. Иногда лапа вздрагивала — гоняла во сне невидимую мышь. Зевота.

Человек стоял в поле. Не на земле — над землёй. Поле расстилалось внизу, бескрайнее, залитое утренним светом. Колосья волновались без ветра — сами, как море, как дыхание. Небо было высокое, чистое, без единого облака. И в этом небе звучал голос. Не громкий. Не тихий. Такой, каким говорит тишина, когда её слушают.

Человек поднял голову. Он не знал слов молитвы. Но губы его шевелились. И небо слушало. И поле слушало. И колосья склонялись к нему, как к своему.

Я смотрел на него издали. Он был один. Но не одинок. Рядом не было ни жены, ни ребёнка, ни дома. Но была полнота. Не та, что от сытости. Та, что от прощения.

Он обернулся ко мне. Лица его я не разглядел. Только свет. Только контур, очерченный солнцем. Он поднял руку — не позвать, не остановить. Просто попрощаться. Как прощаются с теми, кто ещё не готов войти.

Свеча догорела до половины. До полуночи оставалось немного. Я поднялся. Вышел в ночь.

Я пошёл на крик.

Чем ближе к дому повитухи, тем гуще становилась тишина. Не та, что в часовне, — липкая, чумная. Снег здесь был истоптан десятками ног. У плетня, у сарая, у колодца стояли мужики. Человек десять. В руках — вилы, топоры, у кого-то просто дрын. Стояли и смотрели на избу. Не входили. Не приближались.

Изнутри нёсся вой. Женский, утробный, нечеловеческий. Он то взлетал до визга, то падал в хрип, то переходил в булькающий смех. Стены дрожали. Окна запотели изнутри. Что-то ударило в дверь — раз, другой, — будто телом.

Мужики попятнулись. Кто-то перекрестился. Кто-то сплюнул через плечо.

— Чего стоите? — спросил я, подходя.

— Помирает старая, — ответил крайний, не глядя. — Третий час воеет.

— Войдите.

Никто не двинулся.

— Бесы там, — прошептал молодой парень с топором. Губы дрожали. — Мы хотели... хотели вытащить внучку-то. А там такое... такое, что не подступиться.

Вой оборвался. На мгновение стало тихо. А потом из избы раздался голос — не старухин, молодой, звонкий. Голос Ирины:

— Помогите! Матерь Божья, помогите!

Мужики отшатнулись. Кто-то выронил вилы. Я оттолкнул крайнего и пошёл к двери.

Она подалась не сразу — что-то держало изнутри. Надавил плечом. Цепь звякнула, крюк вылетел из петли, и дверь распахнулась.

В лицо ударило жаром и смрадом. Не печным дымом — другим. Так пахнет зверь, когда его гонят и он забивается в угол. Так пахнет страх, смешанный с потом и слюной. Птичьи лапки под потолком дрожали, стучали друг о друга, как кости в мешке.

Повитуха лежала на кровати. Не лежала — была привязана. Верёвки врезались в запястья, в щиколотки, в пояс. Ирина, видно, постаралась. Старуха выгибалась дугой, билась затылком о доски, и каждый удар отдавался глухим стуком в половицы.

Лица у неё больше не было.

То, что я видел утром — спокойное, усталое лицо старой женщины, — исчезло. Кожа натянулась на скулах до треска, рот разорвался в оскале — не в улыбке, в судороге. Зубы жёлтые, сточенные, обнажены до дёсен. С губ срывалась пена, густая, бурая, с кровью. Глаза вылезли из орбит — белые, без зрачков, налитые какой-то мутной влагой, которая не вытекала, а дрожала в глазницах, как студень. Она смотрела в потолок и не видела его. Смотрела дальше — туда, куда я не хотел заглядывать.

Из горла рвался вой. Не человеческий — волчий, утробный, с захлёбом. Она выкрикивала слова, но я не понимал их. Не русские. Не татарские. Древние. Те, что шепчут в лесу под корнями, когда никто не слышит.

Ноги старухи выбивали дробь по кровати. Пальцы на руках скрючились, ногти впились в ладони, и кровь капала на солому. Вся она дрожала, как натянутая тетива, и верёвки скрипели, готовые лопнуть.

Ирина забилась в угол у печи. Обхватила колени руками. Глаза сухие. Не плакала — уже не могла. Просто смотрела.

Я плюнул на пол. Подошёл к стене, подпрыгнул, ухватился за балку. Подтянулся. Доски ходили ходуном. Солома трещала под пальцами, сыпалась вниз. Упёрся спиной в стропила. Рванул доску — отошла с гвоздями. Ещё одну. Ещё. Холодный воздух хлынул сверху. Я высунулся наружу и глянул вниз.

Ведьма стояла у кровати. Верёвки порваны. Одной рукой держала Ирину за волосы. Та запрокинула голову, рот открыт, лицо белое. У старухи рот тоже открыт — широко, до треска в челюсти. Из горла поднималась струйка — дрожащая, светлая, почти прозрачная. Из горла Ирины — такая же. Навстречу.

Они соединились. Загудели.

Рот старухи захлопнулся. Пальцы разжались. Ирина упала на пол. Ведьма рухнула на кровать. Глаза закрылись. Вой стих. Ветер свистел в проломе надо мной.

Я спрыгнул вниз. Подошёл к старухе. Лицо спокойное — прежнее, человеческое. Ирина дышала. Часто, ровно. Поднял её, отнёс к печи.

Её глаза потерянные. Смотрит в пустоту.

— Глупая ты. Жизнь свою продала...

Ирина не ответила. Отвернулась к стене и уснула крепким сном.

Поднял старуху на руки. Почти ничего не весила.

Вышел наружу. Деревня ждала. Стояли полукругом — бабы в платках, мужики без шапок. Увидели меня — подались назад. Увидели тело — закрестились. Одна баба всхлипнула.

— Хороните за околицей, — сказал я. — Не на погосте. Лицом к лесу. В могилу положите травы её и хлеба край. Крест не ставьте — не ей. Сверху камнем придавите.

Мужики молчали. Старая бабка, что кормила кур, перекрестилась и заплакала.

— Она Митьку моего из утробы достала, — сказала другая. — Поперёк шёл. А она повернула. Живой Митька-то...

— И мне корову лечила, — буркнул мужик. — Два года назад. Вымя горячее, а она заговорила. Молоко до сих пор идёт.

— Унесите, — положил тело на снег. — И не бойтесь. Она своё отслужила.

Мужики подошли. Подняли тело бережно, как спящую. Понесли за околицу, к лесу. Бабы пошли следом. Кто-то нёс лопаты, кто-то — узелок с травами.

Я остался у избы. Ворон сидел на плетне. Не каркал. Смотрел.

— Проводил, — сказал я ему.

Он дёрнул клювом. Взлетел. Круги над деревней — и дальше, к лесу, куда унесли повитуху.

Открыл глаза. Спина затекла, ноги замёрзли. Так и уснул — сидя на крыльце, привалившись плечом к косяку. Шестопёр лежал на коленях. Щит стоял рядом, присыпанный снегом.

Деревня молчала. Дым из труб поднимался ровно, без ветра. Где-то скрипнула дверь. Где-то баба окликнула скотину.

Ирина уже не спала. Стояла у плетня, куталась в тулуп. В руке — узелок. Глаза красные, но сухие. Ждала.

Ворон сидел на конском черепе у околицы. Чистил перья.

Я встал. Хрустнул шеей. Закинул щит на спину. Повесил шестопёр на пояс.

— Веди, — сказал я.

Ирина шла впереди. Узелок с травами болтался в руке. Я — за ней. Ворон то улетал вперёд, то возвращался, садился на ветку, ждал. Мы не говорили.

Тропа уводила от деревни в низину. Снег здесь был тоньше, под ним чавкала вода. Берёзы сменились осинами, осины — чахлым ельником. Деревья стояли кривые, замшелые, будто пытались вырваться из земли и застыли на полпути. С веток свисал лишайник — седой, длинный, как волосы утопленницы.

Чем дальше, тем тише. Птицы умолкли. Даже ворон перестал каркать. Только хлюпанье под ногами и собственное дыхание. Воздух тяжелел, пропитывался гнилью. Запах — сладкий, тошнотворный. Так пахнет мёртвая вода и старая тина.

Лес расступился. Впереди легло болото.

Оно не замёрзло. Дышало. Чёрная вода поблёскивала между кочек. Кое-где торчали сухие стволы — берёзы, утонувшие по грудь. Их кора облезла, древесина побелела, как кость. На кочках — мох, бурый, рыхлый, похожий на шкуру больного зверя.

Туман стелился низко, по колено. Двигался сам по себе, без ветра. Обтекал кочки, лизал корни. В одном месте он расступился, и я увидел воду — чёрную, маслянистую, с радужной плёнкой на поверхности. Плёнка лопнула. Пузырь. Потом ещё один. Болото смотрело на нас.

Ирина подошла к мешку. Наклонилась, запустила руки внутрь — не брезгуя, не дрогнув. Пальцы ухватили княжьи космы. Она вытянула голову наружу.

Та была страшна. Кожа на висках сморщилась, как печёное яблоко. Серебряные монеты в глазницах потемнели от холода, но всё ещё блестели — мёртво, тускло. Удавка из конского волоса торчала из разорванного рта, как чёрный язык. Челюсть болталась на лоскуте кожи. От головы пахло морозом, старой кровью и чем-то сладковатым — тлен уже тронул её, но зима держала крепко.

Ирина положила голову на стол. Лицом вверх. Монеты уставились в потолок. Девушка достала нож — простой, с костяной рукоятью, сточенный до узкого жала. Лезвие блеснуло в свете печи.

— Крови твоей надо... крови проклятого... накапать на голову.

— Это ещё зачем?

— Оживить её надо. Велес так велел. Во мне явился мне...

— Оживить? — перехватило дыхание. — Это голова... месяц как отрублена...

ГЛАВА 4. Обряд

Ирина развела костёр у края топи. Ольха шипела, дым стелился над водой. Пламя низкое, синеватое.

Она достала узелок. Развернула на земле.

Первым в огонь пошёл корень плакун-травы — узловатый, как скрюченный палец. Дым потёк по земле, к воде.

Следом — полынь. Растёрла в ладонях, бросила. Запахло горько.

Крапива глухая. Листья сухие, морозом битые. Дым стал едким, зашипал в глазах.

Можжевельник. Веточка с сизыми ягодами. Держала над углями, пока ягоды не лопнули, выпуская смоляной дух.

Девясил. Корень, нарезанный кругляшами. Тлел на углях, испуская сладкий, тяжёлый дух.

Голова висела на ветке берёзы — за волосы, над самой водой. Монеты в глазницах блеснули сквозь дым.

Ирина подошла к пучку полыни. Подошла к голове. Окуривала медленно: лоб, виски, глазницы, рот, шею. Дым оплетал голову, не поднимаясь вверх — стелился над болотом.

Она запела. Низко, гортанно, без слов.

Ворон сидел на мёртвой берёзе. Смотрел.

Она подошла ко мне с ножиком.

— Дай руку, нужна твоя кровь.

— Сатана этот Велес, — я подошёл к болоту. — Мерзкие вещи делать заставляет. Голову оживить... Какой мрак.

«Господи помилуй. Господи помилуй».

— Ты дак ему служишь же. Почему о хозяине говоришь так?

— Не хозяин он мне, — посмотрел на ворона.

— Ты его ненавидишь, но делаешь, что он велит, — она подошла ближе. Коснулась шестопёра. — Почему он тебя в услужение выбрал? Ты его недостойн.

— Рад это слышать.

Воздух загустел. Ирина отошла в сторону и схватилась за голову. Присела на корточки.

«Глеб Суздальский перед смертью свою душу отдал мне. Молил, чтобы я дал увидеть, как погибнут поганые, которые его семью вырезали, а дочерей увели. Жену перед ним изнасиловали. Ненависть закипела в князе. Крик его сердца достал до меня».

— Он мёртв.

«Я отпущу его из Нави. А ты, скотина, исполнишь его мольбу. Вы похожи. Ты молил меня, чтобы помог тебе ордынцев бить. Ты бьёшь. Не обманул я тебя. Дай своей крови, дай князю увидеть справедливость».

Мир исказился. Глаза запекло.

— Ты... ты говорил с ним? — Ирина тряслась на земле.

Протянул руку, оголил запястье.

— Режь.

Ирина взяла мою руку. Пальцы у неё дрожали — не от холода. Нож приставила к запястью, но не резала. Лезвие ходило по коже вверх-вниз, оставляя белые полосы.

Закусила губу. Нажала. Лезвие вошло мелко, но боль была острой — не как в бою, а как ожог от креста. Кровь выступила тёмная, почти чёрная в сумерках. Закапала на мох.

Ирина подставила ладонь. Собрала кровь в горсть — торопливо, будто воровала. Капли падали мимо, прожигали снег. Она поднесла полную ладонь к голове, что висела на ветке.

Пальцы коснулись княжьего лба. Кровь легла на обнажённую кость, потекла по монетам в глазницах, по разорванному рту, по удавке из конского волоса. Ирина втирала её медленно, старательно — как масло в хлеб. Лоб, виски, щёки, скулы. Голова покрылась красными разводами. Одна капля повисла на реснице — той, что ещё осталась.

Ирина отступила. Подняла голову за волосы. Монеты в глазницах блеснули теперь иначе — влажно. Протянула голову мне.

— Голову окуни в болото.

— Почему я?

— Кровь твоя.

Вывалил башку. Подошёл ближе.

Болото лежало чёрное, маслянистое. Туман стелился над водой, как дыхание огромного зверя. Кочки, поросшие мхом, торчали из топи, будто спины утопленников. Вода не двигалась — только из глубин иногда поднимался пузырь, лопался без звука, выпуская гнилой дух. Корявые берёзы тянулись к воде голыми ветвями, и в их сплетениях запутался прошлогодний лист — мёртвый, почерневший. На дальнем краю топи что-то всплеснуло и затихло.

Ворон сел на плечо.

— Дом чужой тревожишь...

— Не мешай.

Сел на край. Опустил голову по самую макушку.

Четыре руки вырвались из гуши. Схватили за горло, за руки, за ноги. Рванули. Я сорвался.

Вода сомкнулась над головой. Холодная, густая, как студень. Она не текла — давила. Обжала тело со всех сторон, залилась под кольчугу, под исподнюю рубаху, под кожу. Темнота здесь была не как ночью — живая, глядящая.

Я вяз. Дно уходило вниз, засасывало медленно, неумолимо. Пальцы хватали пустоту — ни корня, ни камня. Только жижа, что просасывалась сквозь ладони. Ноги облепило тиной, тянуло книзу, как якорь. В ушах — глухой гул, словно земля урчала. Во рту — гнилая вода, сладкая и едкая.

Горло сдавливала лапа. Костяная, цепкая. Пальцы впивались в кадык, под бармицу, под ворот. Я не мог вдохнуть. Перед глазами — только муть и тени.

Крест жёг даже здесь. Сквозь воду, сквозь грязь, сквозь тину. Жёг.

Я рванулся вверх. Бесполезно. Дно не отпускало. Лапа сдавила сильнее.

Схватил за пальцы вокруг шеи. Расцепил. Зубы сжал. Кровяная, прозрачная дымка появилась перед глазами. Тварь задёргалась. Пальцы разрывались, хватку разжала. Перед глазами — мутный образ, длинные волосы, переплетённые с землёй. Лицо скрыто.

Руки вверх поднял. Нашупал что-то. Бревно. Ухватился.

Пальцы скользили по гнилой коре. Тянул себя вверх — медленно, рывками. Тело не слушалось. Кольчуга набрала воды, тянула обратно, вглубь. Ноги вязли, тина не отпускала — чавкала, держала мёртвой хваткой. Я вбил сапоги во что-то твёрдое под илом, оттолкнулся. Ещё рывок. Грудь на бревно. Ещё. Пояс на бревно.

Тварь отступила. Вода вокруг стихла.

Выползал. Медленно. Тяжело. Бревно прогибалось, трещало, но держало. С тины на воздух, из холода в холод. Снег под ладонями показался горячим.

Ирина протянула палку. Я ухватился за конец. Она упёрлась ногами в кочку, потянула.

Изо рта выгреб грязь. Встряхнул доспехи. Тело тяжёлое, мокрое.

— Голова, — я застыл. — Голову засосало.

Ирина с раскрытым ртом упала на землю. Пятилась назад, перебирая руками.

Из болота наружу упёрлись четыре руки. Вылезло грязное тело. Пальцы на одной разорваны. Размером с меня, но стоящее на руках — ног не было. Тварь зашипела. Изо рта вывалилась тина. Голое чудовище, напоминающее женщину, на четвереньках. На горбу — наросты грибов. Тело бледное, почти зелёное.

«В долине смертной тени. Не убоюсь зла».

— Кикимора... — достал шестопёр.

Тварь передвигалась быстро, по кругу. Лапы били по земле. Смотрела то на меня, то на Ирину. Рычала.

— Уйди, нечисть, не то убью.

Тварь зацокотала зубами. Прыгнула на Ирину — так юрко. Бросил в неё шестопёр, в голову. Кикимора завалилась в снег. Побежала на меня. Выставил щит. Удар свалил меня с ног. Руки схватили за предплечья. Чёрные когти впились до крови. Раны зажгло. Не видел лица, прикрылся щитом. Поднял ноги вверх, упёрся — оттолкнул тварь. Она прыгнула на меня. Вцепилась в тело. Рот около моей шеи. Я держал как мог. Слышал треск её связок, костей. Вытянула шею, клыки — кривые, в траве и грязи — тянулись ко мне. Освободил руки. Сдавил её горло. Бледное лицо искривилось. Из-под волос показались три глаза. Человеческие. Хрипела кикимора, вонзила когти свои в бока, царапала, кровь капала на землю. Я лишь давил сильнее. Пока шея трижды не хрустнула. А тело не стало тряпкой.

Бока зажгло. Упал на колени. Дыхание стало горячим, пар вырывался.

Ирина подбежала. Подняла одежды.

— Отравила... — голос дрожал. — Я помогу... помогу. Мне только трав собрать сушёных... Зверобой — он кровь чистит. Подорожник — к ране приложить, гной вытянет. Девясил — от чёрной хвори. Можжевельник — дымом окурить, чтобы зараза не пошла. Ещё крапиву... нет, крапиву нельзя, она жжёт. Тысячелистник! Точно, тысячелистник — он раны затягивает, я бабке всегда его...

— Не надо, — поднялся на ноги. Сбросил кольчугу, зеркало. Место царапин почернело.

Развёл руками. Вороны защебетали над нами, закружили. Облепили, как пугало. И впились в раны.

Ирина прикрыла рот рукой. Отошла.

— Чистят тебя, — вскочила на ноги, платок спал с её головы. Волосы длинные, русые. Показала пальцем на болото. — Смотри, голова.

Обернулся. Голова висела над болотом. Глазницы дёргались. Рот открылся. Синий язык проводил по остаткам зубов.

— Я что, в раю? — вырвалось изо рта. Сукровица стекала по подбородку.

Ирина упала на землю, лицом вниз.

Вороны отлетели. Я поправил одежды.

— Что порванный такой? Ратник, — сказала голова. — Чей будешь? У себя не припомню в дружине.

Поднял Ирину и уложил у костра. Голова парила над болотом. На месте горла — зелёный, ядовитый дым.

«Как он видит? Монеты вместо глаз».

— Эй, ратник, я с тобой говорю! Отвечай князю!

— Ты не князь, — присел рядом с Ириной. Снял корзно, накрыл бледное тело. Подкинул дров.

— Что?! — процедил Глеб.

— Тебя поганые убили. И всю твою семью.

Башка замолчала. Челюсть отвисла.

— Вот оно как. Сразу и не вспомнишь. Лучше бы ты не напоминал, — произнёс князь.

— А это что за девица?

— Ирина. Повитуха.

— Молода. Невеста твоя, мабудь? Смердите похоже... Эй, ратник, вытащи меня отсюда. Повыше повесь.

— Виси, — присел на пенёк.

— Это что за тварь? — вытянул челюсть вперёд.

— Кикимора.

— Никогда не видел. Ну и уродина.

— Ты себя-то видел?

— Как я себя-то увижу? Я же голова.

Костёр перегорал. Ирина в себя не приходила.

— Пойду за хворостом, — встал на ноги. Бока ещё вопили.

— Ты что, меня тут оставишь? Вдруг тварь придёт, такая же? Место это... был бы желудок — стошнило бы.

— Кому ты нужен...

Я отошёл к краю леса. Снег здесь был неглубокий — ветер сдул его, оголив валежник. Сухие ветки ломались с треском, гулким в тишине. Набрал охапку, выдернул из-под снега берёзовый сук. Кора отошла клочьями. Под ней древесина была ещё живая — сырая, но для костра сгодится.

У корней старой сосны нашёл трут — сухой мох, спрятанный от снега. Сгрёб в горсть. Вернулся к костру. Бросил хворост в угли. Искры взметнулись к небу.

— Алексей меня баскакам сдал, чтобы место занять моё, — говорила голова. На макушке сидел ворон.

— Кто такой?

— Брат мой, младший. С ордынцами якшался с детства. В Сарае был, на конях катался. Приехал такой счастливый, лет десять ему было, с собой привёл поганого одного, урод уродом. Морда в шерсти, шакалы рядом околачивались. Да такие... как медведи. Башкой потолки цеплял, никогда не видел. Он-то меня и порешил.

— Батыр?

— Да...

— Значит, его и убью.

— Ты-то? Ты же православный... ладаном прёт за версту.

Понюхал руки. Запах тины.

Ирина подняла голову. Осмотрела нас. Присела, протянула руки к костру.

— Можешь идти, — сказал я. — Дело своё сделала.

— С вами пойду, — обняла свои колени девушка. — Башку надо обрядами поддерживать.

— Не башку, а князя Глеба Суздальского, — выцедила голова.

— Велес велел, — добавила она.

— Велес... — протянул князь. — Какой же я дурак... То-то меня мучало так. Ещё и сюда вернул меня. Спал бы крепким сном...

— Отомстить хотел ты, вот и терпи. За предсмертный гнев — неси ответ.

— Как ты? — спросила Ирина.

— Как я, — осмотрел себя. Весь в грязи. Холод за рёбра держал. — Отмыться надо. Бери проклятого князя, пойдём в баню.

Истопил баню сам. Истопил по-чёрному — натаскал воды из колодца, нарубил дров, развёл огонь в каменке. Дым повалил густой, застоялся под низким потолком, полез в щели. Я сидел снаружи, ждал, пока камни накалятся, пока угар вытянет. Бока саднили. Вороны на крыше чистили перья. Ирина устроилась у порога — князь висел рядом на жердине, что-то бурчал про немытые кости и про то, что при жизни у него баня была каменная, а не такая, срам один.

Когда дым ушёл и стены прогрелись до первого пота, я зашёл.

Пар ударил в лицо — сухой, жгучий. Я сбросил кольчугу, зеркало, исподнюю рубаху. Та слиплась от крови и болотной грязи, отдиралась с мясом. Голое тело было чужое: в шрамах, в свежих царапинах, с почерневшими боками, где кикимора впиалась когтями.

Плеснул на камни. Вода зашипела, взорвалась облаком. Пар обжёг плечи, шею, спину. Я сел на лавку. Закрыв глаза.

Грязь отмокала. Кровь отмокала. Тина болотная, что вьелась в поры, стекала на пол вместе с потом. Я тёр себя мочалом — грубо, до красноты. Будто можно было стереть не только грязь, но и проклятие. Будто можно было смыть с себя Велеса.

Бока заныли сильнее. Я потрогал раны — края стянулись, но плоть ещё горела. Вороны своё дело сделали, остальное заживёт.

За окном князь брюзжал:

— Ты там не усни, ратник. Угоришь ещё. Князя Суздальского без отмищения оставишь. Я не ответил. Плеснул ещё. Пар заволок всё.

Посидел немного. Потом вышел в предбанник. Воздух был морозный, колючий. Тело дымилось. Я надел чистую исподнюю рубаху — Ирина где-то раздобыла, — накинул кольчугу. Бока уже не вопили. Просто ныли, как старая память.

— Батыра где найти?

Ирина подала зеркало. Я застегнул ремни на плечах. Она проверила пряжки на боках — молча, уверенно. Следом — кольчуга. Тяжёлая, ещё влажная после болота, но чистая. Ирина отёрла грязь песком и снегом, пока я сидел у костра. Теперь железо пахло морозом.

Наручи. Левый лёг ровно, правый она поправила — ремешок перекрутился. Пальцы у неё были быстрые, привычные. Не княжна. Не жена. Повитуха.

Я накинул корзно. Застегнул на плече. Шестопёр — на пояс. Щит — за спину.

Князь висел на ветке и смотрел на нас пустыми монетами.

— Батыр? Да по всей округе ездит. От Суздаля до Юрьева. У него тут своя потеха: свита человек в двадцать, шакалы эти его, что на медведей похожи. Он без них никуда. Останавливается, где погулять можно. В кабаках, в корчмах, на постоянных дворах. Девочек ему везут, вино, мясо. Местные за версту знают: если шакалья стая у околицы — значит, Батыр здесь. Расспроси на тракте, любой скажет. Шакалов с ним десятка два, не меньше.

— Что за шакалы такие?

— Здоровые, худые, ржут как люди. Рвали ноги мои, не убежал. Показалось даже, что разговаривали.

— Бесовщина, значит.

— Ты ещё Батыра не видел. В два раза крупнее тебя. У тебя хоть дружина есть?

— Нет.

— Сам пойдёшь в бой?

— Как же сам... с тобой и Ириной.

Девушка вздрогнула.

— Ты не дури, у меня ещё остались люди в Суздале.

— И что они скажут, когда твою башку увидят?

— Тоже верно. Забываю я, что мертвец. Не видать мне почестей больше.

— В ночь пойдём? — спросила Ирина.

— Да, — вышел на улицу, вздохнул.

— Там воинов каких-то вдоль дороги на Юрьев вешали. Ночью нельзя туда идти. Призраки ходят.

— Не бойся, повитуха, — щёлкнул зубами Глеб. — Увидят меня — обсерутся.

Голова попыталась посмеяться, да захлебнулась гнилью.

Солнце ушло за лес. Небо на востоке налилось чернотой, и она поползла на мир, как густая, медленная кровь. Последний свет зацепился за верхушки сосен — и погас. Ночь наступила беззвёздная, глухая. Только снег слабо светился под ногами, будто сам из себя источал мёртвый, подземный свет.

Мы вышли на тракт.

Впереди, над дорогой, висели они. Ордынцы вешали не на столбах — на длинных жердях, перекинутых меж двух сосен, как насест. С десятков тел. Воины. Не дружинники — про-

стые ратники, может, ополченцы. Доспехи сняты. Одежда висела клочьями, обдута ветрами, выбеленная морозом. У одного не было руки. У другого — половины лица. Третий висел вниз головой, привязанный за ноги, и его длинные волосы мели снег.

— За что их так? — спросила Ирина.

— Кто знает... — сказал князь. — Постой-ка. Опусты меня ниже.

Я снял мешок с плеча. Поднёс голову к висельникам. Глеб всматривался пустыми монетами в лицо одного — того, что висел ближе всех. Бородатый, широкоплечий. На шее — верёвка, на груди — след от сабельного удара. Замёрзшая кровь блестела, как смола.

— Добрыня... — выдохнул князь. — Он меня из сечи вынес. На Калке ещё. Я молодой был, горячий. Вперёд полез, коня подбили, меня — камнем по шелому. А этот... этот волок меня на себе через всю степь. Думал, вместе состаримся. Будет мне вместо отца. А теперь висит, как падаль.

Голос князя не дрогнул. Но челюсть сжалась. Зубы скрипнули.

— Он бы тебя не узнал, — сказал я.

— Узнал бы. Такие всегда узнают.

В конце дороги шевельнулся силуэт. Длинный пёс, тощие ноги. Грыз себя за бок — рвал шерсть зубами, мотал головой. Увидел нас. Уши встали торчком. Замер на мгновение — и скрылся за оврагом.

— Придушу всех собственными кишками, — взялся за шестопёр. Руки задрожали. Мир сузился. Видел только тропу.

— Ты чего это? — говорила голова. Я не слышал.

Ветер задувал. Тело чесалось, зубы сцепил. Ощущение сладкое, волнительное.

ГЛАВА 5. ШАКАЛ.

Ирина развела костёр под старой елью. Ветки нависали низко, укрывали от ветра. Снег здесь был неглубокий — лапник задерживал его, и земля под елью осталась почти сухой.

Она достала из узелка пучок полыни. Подожгла от углей. Дым потянулся к голове — густой, белый. Князь висел на суку, чуть покачиваясь. Монеты в глазницах блестели сквозь дым.

— Опять чадишь, — прохрипел он. — Я и так мёртвый. Чего меня ещё травить?

— Обряд надо поддерживать, — Ирина обошла голову по кругу. Дым оплетал княжьи космы, забирался в разорванный рот, в дыры на месте ушей. — Ты без этого говорить перестанешь. И видеть.

— Может, оно и к лучшему — не видеть. Я вон Добрыню своего увидел. До сих пор мутит.

Я сидел у ствола, спиной к коре. Шестопёр положил на колени. Молчал.

Ирина закончила окуривание. Полынь догорела. Она достала можжевельник — веточку с сизыми ягодами. Положила на угли. Запахло смолой, лесом, живым. Князь замолчал.

Вороны закаркали высоко над лесом, над нами. Схватил шестопёр, щит. Смотрел сквозь стволы деревьев. Ветер затих. Смог какой-то по округе.

Вороны закаркали высоко над лесом, над нами. Схватил шестопёр, щит. Смотрел сквозь стволы деревьев. Ветер затих. Смог какой-то по кругу.

— Что ты так вскочил? Воши небось? — башка перестала качаться в стороны.

Провёл глазами — ничего.

— Воняет падалью, — сказала Ирина. — Шерстью.

— Как хорошо, что я уже мёртв, — сказал, захлёбываясь, Глеб.

Морда показалась в берёзах. Затем худые собачьи ноги, как ветки. Морда крупная, собачья. Уши торчком. Тело подранное, в ранах. Шакал бродил по кругу и всматривался в нас. Крупный, как корова, только тощий. Псиной веяло от него, костёр пошёл чёрной копотью.

«Один. Других не чую».

— Псина, удумаешь что — выверну наизнанку, — указал на него шестопёром.

— Не спорю, богатырь, — пасть открывалась, морщины на морде, как человеческие, задёргались. Ходил из стороны в сторону. Глаза красные, людские.

Ворон на плечо сел. Когти царапали корзно. На затылке высыпали мурашки.

«Убей его. Негоже этой твари по моей земле ходить».

— Разведешь для хозяина своего? — спросил я.

— Небесный бог мой хозяин, и никто больше, — шакал не прекращал бродить.

— Батыра ты тварь. Я знаю.

— Батыр Кучак, — прорычал пёс.

— Кучак... помню... — протянул Глеб на суку.

— Хочу, чтобы ты его забил, богатырь. Сожрать сердце его, видеть муки и слушать хрипы паскуды.

— По что тебе смерть своего? — я подошёл ближе. Рукоять наготове.

Шакал остановился. Поднял морду. В свете костра показался. Шкура висела на рёбрах, как тряпка на частоколе. В прорехах виднелось мясо — серое, в струпьях. На боку зияла рана, и в ней копошились белые черви. Он не чесал её — просто грыз, рвал зубами собственную плоть, и пасть его была в собственной крови.

Лапы длинные, суставчатые, как у паука. Каждый сустав выпирал под кожей, ходил туда-сюда, щёлкал при каждом шаге. Когти стучали по мёрзлой земле — цок-цок-цок, — как костяшки. Хвоста не было — обрубок, заросший грязной шерстью.

— Человеком быть желаю, не хочу служить никому, — заскулил пёс. — Только ничего уж не поделаешь. Нукером был Кучака. Семья была в улусе, дети, наверное, уже мужики крепкие. А я кто?

— Как так вышло? — я опустил оружие.

— Служил ему. После Калки батыр прославился, завоевателем стал. Его бог небесный силой наградил, а я при нём быть хотел. Молодой, глупый. Кучак сам мне лоб резал. Кровь пустил, пепел коня моего в рану втёр. Из чаши дал выпить — из черепа. А потом шакалы вышли. Думал — испытание. А они жрали меня. Живого. Кучак стоял, смотрел, говорил: «Терпи. Без боли нет силы». А я кричал. Пока кричать не перестал. И стал этим.

Красные глаза уставились на меня. Челюсть дёрнулась.

— С тех пор грызу себя. Пока он жив — грызу. Убей Кучака, богатырь. Я сдохну. С радостью.

— На Калке был?

— Был. Обычная битва. Старый я, только вот не сдохну никак. На корень насадился, думал — сдох, а наутро целым встал.

— Почём ко мне пришёл?

— Я по пятам за тобой иду. Видел, как ты ордынцев рвёшь, что после себя оставляешь. Не человек ты. Такой силы может хватить, чтобы убить Кучака. Будь он проклят...

«Убей его!»

Уши заложило. Потряс головой.

— Надеюсь, мужик, ты ему не поверишь на слово во всём, он же шакал, — болтнула голова.

Пёс принялся, уставился на дерево, где башка висела.

— Нечисть тебя лепит, богатырь, — заржала тварь. Пасть растянулась. — Может, ты и сам нечисть?

— Убью его. Так тебе спокойней? — спросил я.

— Даже не спросишь, куда ударить что насмерть? — застучал зубами пёс. — Я с ним сколько себя помню бегаю.

— Раз уж он тут, пусть выкладывает, как тебе свиту его перебить. Договаривайся, в общем, — Глеб закашлял. — Ирина, лапушка моя, что-то плохо мне. Челюсть виснет.

Повитуха встала и давай мазь в лицо втирать.

— Поменьше говори, только силы тратишь, — ворчала Ирина.

— Глеба Суздальского рвал?

— Рвал.

— Где дочери его?

— С Кучаком. Себе забрал.

— Живы?

— По что мне знать, что в гареме Кучака творится?

Посмотрел в небо. На ветке вороны сидят, около дюжины. Все молчат.

— Гарем — это где баб держат? — Ирина подошла ближе.

— Да, — прошипел гость.

Челюсть Глеба застучала. Ничего не сказал, только цокот его оставшихся зубов.

— Если убью его — ты свободен будешь?

— Да, богатырь, и свита его, даже перебитая, больше не проснётся.

— Добро.

— Могу подсобить. Терять мне нечего. Отвлечь могу, напасть. Пусть рвут.

— Ты достаточно натерпелся. Оставь это мне.

Уши шакала вытянулись. Глаза расширились, рот приоткрылся. Замер. Затем он повернулся к нам боком. Сделал пару шагов, обернул морду.

— Прости меня, богатырь, вы все, простите.

Бросился в сторону дороги, побежал. Скрылся из виду. Рот мой потянуло, грудь напряглась — зевнул.

Утро застало нас у стен Юрьева. Город лежал в низине, за рекой, присыпанный снегом. Стены брёвнами — высокие, но местами провалены. Ворота отворены настежь. Ни стражи, ни оклика. Надвратная башня глядела пустыми окнами. На шпиле висел обрывок ордынского бунчука — конский хвост, обледенелый.

Мы вошли. Улицы пустые. Снег лежал нетронутый — ни следа, ни колеи. Дома жались друг к другу, но оконца тёмные. Где-то лаяла собака. Где-то скрипела ставня. Людей не видно.

Ирина шла рядом, куталась в тулуп. Глеб молчал в мешке.

В центре, на площади, стоял кабак. Вернее, что от него осталось. Крыша провалена внутрь, стропила торчали, как рёбра. Одна стена выгорела до черноты, другая завалилась набок. Вывеска валялась в снегу — «Корчма братьев Ждановых». Буквы вырезаны криво, по домашнему. Дверь сорвана с петель. Внутри — ветер, зола и битая глиняная посуда. У порога лежал мёртвый пёс, присыпанный снегом. Дворовый. Рядом — детский лапоть.

Мужик вышел из корчмы, собирал обломки.

— Что было здесь? — я подошёл ближе.

Синяк на пол-лица. Одет в рваный тулуп, подпоясанный верёвкой. На ногах — опорки, солома торчит. Борода клочьями, в седине. Пальцы красные, обмороженные.

— Господин Кучак. Со свитой. Отдыхали.

— Давно?

— Позавчера.

— Хорошо у вас отдыхают. Корчму развалили, — подошла к нему Ирина.

— Девоч насильовали, увели нескольких. Мужиков убили. Мальчика загрызли.

Корчмарь бросил доски на землю.

— Откуда знаешь? — прошептал он. — Я тебя тут не видел.

— Повитуха я.

— Правда? — подошёл я к нему.

— А кто ж их остановит? Наместник у князя Алексея в Суздале, ему дела нет. Поп наш в подклети отсиделся, еле живой. А мужики... у мужиков топоры, да духу нет. Кто пытался влезть...

— Где они? — осмотрел вокруг.

В окнах — лица. Бледные, застывшие. Баба прижимала к себе ребёнка, закрывала ему рот ладонью. Старик у ворот стоял, не шевелился. Двое мужиков у колодца опустили глаза. Никто не вышел. Никто не окликнул. Глядели — и молчали. Как звери из нор.

— Где они?!

— Не ори ты! — баба старая с ведрами шла. — Опять придут, ещё кого-нибудь за собой утащат.

Взял корчмаря за ворот и вдавил в стену. Тот скривился.

— Ты видел их, как кутили, о чём говорили, куда собирались... говори, не то убью...

Ирина потянула меня за плащ. Обернулся, в глаза не смотрела. Тянула сильнее. Дыхание отяжелело. Бросил старика на пол.

Корчмарь поднялся с земли. Отряхнул снег с тулупа. Дышал тяжело, но глаз не отводил.

— Они у Онуфрия, — сказал он тихо. — Что на горке. Боярин наш. Он им погреб открыл, мёды выкатил, баранов зарезал. Свита Кучака у него третий день. Пьют, жрут. Девочек туда же сволокли.

— Живых? — спросил я.

— Кого живых, кого... — корчмарь осёкся. — Ты уж сам гляди.

Я посмотрел на горку. Дом Онуфрия стоял выше прочих — сруб крепкий, в два жилья, крытый тёсом. Ворота закрыты. Из трубы валил дым. У ворот — двое в малахях. Не шакалы — люди. Стража.

— Сколько их там?

— Кучак, шакалы его, нукеров пяток. И Онуфрий с челядью. Только челядь теперь им служит. Со страху.

Ирина взяла меня за рукав.

— Если девки там — они их с собой не увезут. Кучак наиграется и бросит. Или скормит.

Я сжал шестопёр.

— Значит, я за ними.

«Онуфрия убей. Глаза оставь. Вороны склюют. Сожги его берлогу с семьёй. Выкоси род его под корень».

Я пошёл быстро. Снег хрустел под сапогами, дыхание вырывалось паром. Дом Онуфрия вырос вдаль — сруб в два жилья, крытый тёсом, ворота закрыты. Из трубы валил жирный дым. Пахло жареным мясом.

— Ирина, — бросил я через плечо. — Прячься.

Она отстала. Я слышал, как затихли её шаги. Осталась где-то за плетнём, с мешком в руках. Глеб молчал.

Сжал шестопёр. Пальцы сами стиснули рукоять — до хруста в костяшках. В груди набухало горячее, поднималось к горлу. Дыхание стало глубже, реже. Пульс ударил в виски — раз, другой, третий. Глаза сузились. Снег под ногами стал ярче, звуки — дальше. Будто кто-то прикрыл дверь между мной и тем, что снаружи. И оставил только одно.

Подошёл к крыльцу. Двор перед домом был широкий, утоптаный. Снег размесили в грязь. В углу двора, у коновязи, лежали они.

Шакалы. Стая. Штук шесть. Спали в кучу — серые, костлявые тела, сплетённые лапами и хвостами. Пар поднимался от их дыхания. Шкуры висели на рёбрах — такие же, как у того, в лесу. У одного не было уха. У другого — половины морды, и видна была кость. У третьего лапы вывернуты в суставах — спал на спине, задрал их к небу, какдохлый паук. Дышали хрипло. Во сне дёргались, скулили, щёлкали зубами. От кучи несло псиной, падалью, гнилой слюной.

— Кучак!!!

Шакалы встали на дыбы. Сбились друг к другу.

— Кучак!!!

Твари зарычали.

Дверь дома распахнулась с треском. Выбежал мужик пожилой. Онуфрий. Борода седая, клином. На плечах — шуба соболя, накинута впопыхах, рукав вывернут. Под шубой — рубаха шёлковая, в пятнах вина и жира. На шее — крест золотой, тяжёлый. Пальцы унизаны перстнями — на каждом камне кровь не отмыта. Лицо красное, потное. Глаза выпучены.

— Ты кто таков?! — заорал он. — Ты знаешь, чей это дом?!

Подбежал ближе. Осмотрел. Из дома — женские крики, смех.

— Ратник, иди отсюда по добру, — лицо испуганное. Голос дрожит, но тон сменил. — Ради Бо...

Шестопёр впился в его лицо. Кровь брызнула на землю. Упал глухо возле ног.

Звери завyli. Встали на дыбы, но с места не двинулись. Половицы в доме затрещали. Тело здоровое наклонилось, чтобы вылезти из створа. Встал на крыльце, пояс застегнул.

Кучак.

Ростом на голову выше меня. Плечи — как дубовая плаха. Шея толстая, жилистая, бугрилась мышцами под кожей. Одет в халат степной, шёлковый, расшитый серебром, накинута на голое тело. На поясе — сабля, рукоять в камнях. Сапоги мягкие, без каблука, ступал бесшумно.

Лицо — не человеческое и не звериное. Пограничное. Челюсть вытянута вперёд, как у пса, но губы человеческие, толстые, в трещинах. Нос приплюснут, ноздри раздувались, втягивали воздух — он чувствовал меня. Глаза маленькие, жёлтые, с чёрными точками зрачков. Над глазами — надбровные дуги, тяжёлые, как костяной козырёк. Скулы широкие, обтянутые серой кожей. Уши заострены вверх, поросли короткой шерстью.

Он улыбнулся. Зубы — крупные, жёлтые, но ровные. Не клыки — человеческие. Только многовато их, будто в два ряда.

— Урус, — прорычал он. Голос низкий, гортанный, с присвистом. — Ты знаешь кого позвал?

— Дочери Глеба Суздальского, где?

— Ты что, за него мстить пришёл? Один? — рассмеялся бугай. Сзади показались трое нукеров.

— Отвечай, червь.

Кучак нахмурил брови, улыбнулся.

— Позабавился и шакалам скормил. Наверное, ещё в брюхе, у каждого по части.

«Господи, Боже мой! На Тебя уповаю, да не постыжусь вовек! Да не восторжествуют враги мои надо мною! Порази их в ярости Твоей, сокруши кости их, ибо беззакония их умножились! Восстань, Господи, в гневе Твоём! Подвигнись против неистовства врагов моих! Изыди, как огонь поедающий, как буря, сокрушающая дубравы! Да будут они, как прах пред лицом ветра! И Ангел Господень да гонит их! Да будет путь их тёмным и скользок!..»

Псы окружали меня со всех сторон. Брызгали слюной. Сжал челюсть. В глазах темнело.

— Ибо они роют яму — и упадут в неё! Злоба их обратится на главу их, и жестокость их падёт на темя их! Я же возвеселюсь о Господе, возрадуюсь о спасении Его! Восстань, Господи! Порази! Избавь душу мою от нечестивого, мечом Твоим от врагов Твоих! Десница Твоя найдёт всех ненавидящих Тебя! Сделаешь их, как печь огненную, во гневе Твоём! Господь проглотит их в ярости Своей, и огонь пожрёт их!

— Это что ещё? — хмыкнул Кучак.

Схватил ближайшего шакала за горло. Визгнул. Другие отошли. Вцепился пальцами в брюхо. Сжал так, что кожа лопнула, бросил шестопёр. Тварь ударил о землю, ногу на шею.

Псина дрыгала костлявыми лапами. Второй рукой разорвал брюхо. Шкура разошлась с треском. Кишки вывалились на снег — сизые, дымящиеся. Желудок лопнул под пальцами.

— Где они?! — глаза налились. — Не вижу!

Посмотрел в глаза батыру.

— Может, у других части дочерей князя... или прямо у тебя?!

Кучак застыл.

— Ты кто такой, урус...

Бросился на другого, схватил шестопёр. Тот отпрыгнул с лаем, ударил ближнего. Челюсть твари вылетела, а сама хрипела и катилась по земле. Сзади рычание, обернулся — в глотку сунул шестопёр. Глубоко. Подавилась. Кулаком в шею. Хруст.

Оставшиеся шакалы рассыпались по двору. Трое. Окружили. Тот, что без уха, зашёл слева. Тот, что с вывернутыми лапами, скалился справа. Третий, самый крупный, встал напротив. Шерсть на загривке дыбом. Глаза красные, влажные. Он не рычал — ждал.

Я поднял щит. Шестопёр в правой руке, тяжёлый, скользкий от крови.

Левый прыгнул первым. Метил в ногу. Я повернул корпус, щит пошёл вниз, поймал его морду. Удар. Хруст. Шакал отлетел, заскулил, закрутился на снегу. Но правый уже был рядом. Когти полоснули по рёбрам. Кольчуга выдержала. Я развернулся, шестопёр пошёл сверху вниз. Попал в плечо. Кость треснула. Тварь взвыла, но не отступила — вцепилась зубами в древко. Рвала, тянула на себя. Я отпустил шестопёр одной рукой, схватил её за горло. Сдавил. Пальцы провалились в шерсть, в кожу, в жилы. Рванул. Кровь хлынула на снег.

Третий ударил в спину. Тяжёлый, как бревно. Сбил с ног. Мы покатались по снегу. Его пасть — у самого лица. Дыхание гнилое, горячее. Я выставил локоть, упёр в горло. Он давил. Когти рвали кольчугу на груди. Кольца лопались. Я нашарил на поясе нож. Выдернул. Вогнал ему в бок — раз, другой, третий. Шакал захрипел, ослабил хватку. Я сбросил его с себя. Поднялся. Он лежал на снегу, дёргал лапами. Я наступил ему на шею. Надавил. Тишина.

— Зверь, — захолопал в ладоши Кучак. Вынул саблю — длинную, широкую. — Давно я не бился с настоящим богатырём. Ещё с Калки.

Сделал шаг ко мне. Оскалился, зубы острые.

Я выдохнул. Встряхнул куски мяса с оружия.

— Ты голыми руками разорвал мою свиту. Ты не простой воин, так? Ты Богом своим помазанный?

Пошёл к нему навстречу.

— Нет, — прошипел он.

Мы ходили по кругу, смотрели в глаза. Он возвышался надо мной, как башня. Плечи закрывали полнеба. Рука, сжимавшая саблю, была толщиной с моё бедро. Каждый шаг его отдавался в земле. Пахло от него зверем, мускусом, старой кровью.

— Твой Бог не порождает убийц. Но мы с тобой похожи. Я чувствую в тебе тьму. Я освящён небесным богом, а ты... мертвец.

Остановились.

— Я не проигрывал битв, — поднял саблю Кучак. Лучи утреннего солнца отражались от лезвия, падали на меня.

ГЛАВА 6. БАТЫР.

Ветер ударил в спину. Снег сорвался с крыш, с земли, с веток. Взвился столбом. Закружил по двору. Мир побелел. Дом Онуфрия исчез за пеленой. Только тени — моя и его. Метель выла, как стая шакалов. Снег бил в лицо, лепил глаза. Я утёрся рукавом. Кучак шагнул вперёд. Сабля рассекла белую муть.

— Твоя земля гниёт. Даже зима у вас — слякоть. В степи снег чистый. Как кость. А тут... плюнуть не во что. Всё мокрое.

— Ты её больше не увидишь, — подогнул колени. Образ стал мутным. Вороны кружили.

— К Вечному Синему Небу! — заревел Кучак. Голос его разнёсся по мёртвым улицам.

И пошёл на меня — не шагом, броском. Звериным. Сабля летела наискось, целя в шею.

Я встретил саблю шестопёром. Железо ударило в железо. Треск. Сабля разлетелась на части. Острие воткнулось в землю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.